

Е.А. Самарская

Сфера политического в интерпретации Р.Арона

Происходящие сейчас трансформации во всех сферах общественной жизни заставляют пристально всматриваться в работы тех политологов и социологов, которые заявляли о своей верности традициям политической мысли, имеющим начало в эпохе Просвещения и буржуазных революций. К их числу относится Р.Арон, либерал, ученик М.Вебера, воспринявший вообще идеи немецкого неокантианства, которые он синтезировал с достижениями французских социологов от Б.Констана до А. де Токвиля и экономистов от Дж. Ст. Милля до Ф. фон Хайека. Ему всегда были ненавистны как претензии теоретиков, стремящихся к созданию тотальной картины истории, так и политические движения тоталитарной направленности. Поэтому он занимал активную позицию в борьбе с фашизмом, редактировал журнал «Свободная Франция», выходивший в Великобритании во время немецкой оккупации Франции. Поэтому же он едко высмеивал марксистские увлечения Ж.-П.Сартра, М.Мерло-Понти, структурализм на марксистский лад в лице Л.Альтюсера. Это были времена увлечения французских интеллектуалов левыми идеями (40–60-е гг. XX в.), в их среде Арон приобрел тогда репутацию «главного реакционера».

Арон разработал философию истории, вполне адекватную его либеральной политической ориентации. В своем «Введении в философию истории» он отрицал возможность тотального синтеза истории, рассматривая ее как способ существования

человека, всегда устремленного в будущее, которое нельзя очертить заранее, так как оно является результатом свободного творчества людей. В истории, с его точки зрения, можно выделить некие каузальные связи, область детерминизма, но окончательную ее направленность определяет выбор индивидов. Рассмотрение «регулярных» связей между историческими событиями дает лишь «вероятностную» картину истории, что составляет условие плюрализма исторических интерпретаций. Перефразируя В.И.Ленина, можно сказать, что Арон ограничивает детерминизм, чтобы дать место свободе. Он считал, что даже на макроуровне истории, изучаемом социологами и историками, всегда сохраняется определенная значимость индивидуальных микрособытий, всегда «остается место для рассказа об авантюре, главные линии которой не могут быть обрисованы заранее»¹.

Философские идеи Арона дают ключ к его социологии и политологии, в частности, к пониманию того, что представляет собой сфера политического. Тут главную роль играют его представления об «инструментальном» и «коммуникативном», «действенном» и «моральном», «рациональном» и «ценностном». Но прежде чем перейти к вопросам политологии, стоит понять, как работают эти его представления в общесоциологической теории. Для этого можно обратиться к разработанной им в пятидесятые годы концепции единого индустриального общества. Она была создана, когда либерализм вынужден был отбиваться от широкого наступления левых идей и идеалов, от марксистского прогрессизма, от распространенного тогда убеждения, что социализм призван заменить собой капиталистическое общество, что социализм — это вершина человеческой истории. Тогда Арон, а одновременно с ним и У.Ростов, Ж.Фурастье развили идею о том, что реально социализм советского типа представлял собой просто вариант индустриального общества, другим вариантом которого является западный капитализм. Это означало колоссальную демистификацию социализма, он был поставлен на один исторический уровень с капитализмом, их достоинства и недостатки стало можно социологически сопоставлять и сравнивать. Правда, Арон поступил очень осторожно, заявив, что он говорит о двух «идеальных типах»² индустриального общества, а не какой-либо стране, конкретном по-

литическом режиме. Но фактически он сопоставлял постоянно в экономическом, социальном, политическом планах Советский Союз и капиталистический Запад.

Арон начал с исследования общих черт этих обществ и прежде всего указал на характер производства и науки, которые предстают при этом как сферы «инструментальности», якобы нейтральные в отношении культурно-исторических особенностей той или иной страны.

Внешние признаки индустриального общества очевидны: это доминирование промышленного производства, урбанизация страны, перекачка населения из деревень в города, высокая роль науки и техники в развитии производства, развитие школьного и специального образования и т.д. И уже простое перечисление этих признаков заставляет усомниться в том, что становление и развитие индустриального общества может остаться нейтральным в отношении национальной культуры той или иной страны. Психология и культура горожанина совсем иная, чем у деревенских жителей; широкое распространение образованности тоже сильно воздействует на изменение национальной культуры, усиливая в ней универсалистские черты. Идентификация стиля жизни в разных странах влечет за собой и идентификацию их культур. Между тем Арон в пятидесятые годы считал, что социально-политические структуры и культура автономны в отношении роста индустриализма, что они находятся вне сферы индустриального прогресса и прогресса вообще.

Арон не говорил о прогрессе истории в целом, как то было у Гегеля или Маркса. Он стремился употреблять понятие прогресса не в ценностном, а в позитивном смысле. Так понятий прогресс обнаруживается лишь там, где есть накопление результатов: это сферы науки, техники, производства. Экономика же, политика лишены накопления, та или иная их форма определяется поиском ответов на некие фундаментальные проблемы, причем любая форма ответа имеет всегда и положительные, и отрицательные стороны. В отношении экономики трудно говорить о прогрессе, ибо она не имеет единообразной цели и ее состояние можно оценивать с разных точек зрения — эффективности, справедливости и т.п.: «суждения о прогрессе в экономической области вдвойне хрупки, т.к. существует множест-

венность критериев внутри самой экономики и множественность критериев, ей внешних»³. Также и политика, по мнению Арона, не имеет линии прогресса, различные политические режимы представляют собой разные ответы на одни и те же фундаментальные вопросы: как примирить властную иерархию с участием всех в политической общности, как примирить неизбежность применения силы и справедливость, как примирить мудрость управления с желаниями и мнениями всех? Все известные политические режимы дают, считает Арон, лишь несовершенное решение названных проблем. В еще большей степени, чем экономика и политика, чужды количественному накоплению результатов и прогрессу искусство, культура.

Выводя экономику, политику, культуру за рамки единообразного прогресса, Арон думал, во-первых, опровергнуть тотальный марксистский исторический прогрессизм. Он хотел также продемонстрировать уважение к культуре разных стран, он как бы говорил всем народам: идущие с Запада техника, наука, индустрия нейтральны и не нанесут ущерба вашей культуре. Тем самым он идеологически прокладывает путь для экономической экспансии Запада в другие регионы мира.

Но все же Арон не сумел (да это и невозможно было сделать) провести четкую грань между сферой «инструментальности», общей якобы для разных стран, и сферой национальных культурных ценностей, ибо можно сказать, что импульсы, идущие из сферы производства, распространяются очень далеко, на все сферы общественной деятельности. С другой стороны, случайно это или нет, но Арон в угоду идее об инструментальном характере производства и науки подает в качестве культурно нейтральных явления, которые таковыми не являются. В этой связи можно указать, например, на его рассуждения о стимулах, управлявших производственной деятельностью на Западе и в Советской России. Можно подивиться тому, сколько усилий прилагает Арон, чтобы доказать сходство факторов производственного роста в таких диаметрально противоположных по культуре регионах. В числе таких факторов Арон называл науку и экономический расчет. Вебер считал приверженность к экономическому расчету главной характеристикой западного духа. Арон, не отвергая важности такой приверженности, основное значение

придавал науке; дух Запада, и в этом Арон согласен со Шпенглером, прежде всего дух научности, а последний вовсе не всегда соответствует интересам экономической рентабельности. Интересно, что и относительно СССР он говорил то же самое, утверждая, что индустриальный рост в СССР скорее обязан науке, чем экономическому расчету. Он писал о советской системе, что в ней «дух индустриальной цивилизации является гораздо менее духом экономического расчета, чем духом научного творчества»⁴. Такие заключения не могут не вызвать возражений: известно, что научный дух советской системы был в известной мере фикцией, т.к. реализовавшаяся будто бы в ней марксистская наука об обществе была на деле благонамеренной фантазией, а развитие естественных и точных наук тормозилось по идеологическим причинам. В советском обществе происходил рост производства, но это было результатом политической воли.

Арон, как и Росту, считал, что во всех индустриальных обществах сформировался новый, по сравнению с традиционными обществами, тип человека, который оказался одновременно и следствием, и условием функционирования индустриального общества. Это человек открытый для будущего, готовый умножать научные и технические открытия, производить все больше и постоянно увеличивать свое потребление, для него характерна «безграничность желаний». Он как бы воспроизводит на индивидуальном уровне общую для индустриальных обществ ориентированность на безграничный рост производства и потребления. Такая их особенность – свидетельство уникальных перемен, происшедших в западном мире в Новое время, перемен, детерминированных совпадением множества обстоятельств (развитием науки, освобождением масс людей от привязки к определенным месту и ремеслу, формированием человека-предпринимателя и распространением склонности к материальным благам). Аристотель считал, что только денежному богатству присуще стремление к безграничному росту, индустриальный же мир показал, что и производству материальных благ, их потреблению свойственна такая же безграничность. Арон писал, что люди в индустриальных обществах охвачены жадной все большего потребления, так как такие общества, по его выражению, «материалистичны» и люди в них лишены склонности к аскетизму.

Такие оценки Арон адресовал и западным обществам, и советскому обществу. Буржуазная философия и марксизм имеют, говорил в этой связи Арон, общие цели и амбиции: «И с той, и с другой стороны хотят наилучшим образом использовать естественные ресурсы, производить по возможности больше, те и другие думают, что не достойны жизни те, кто не трудится. Каждая из сторон применяет эти принципы различными методами. В итоге обе философии восхваляют труд, изобилие и прогресс»⁵. С этим можно было бы согласиться, если бы у марксистов начала прошлого века, причем у тех, кто безоговорочно верил в прогрессивность социализма, не проскальзывали иные представления о его перспективах. В текстах Каутского можно встретить характеристики социализма как общества статичного. В том же духе высказывалась и Р.Люксембург, когда она отрицала значимость критерия прибыльности для социалистической экономики. И вообще интенция поставить производство в зависимость от уровня необходимых потребностей человека присутствует в глубине любой концепции социализма. Но дело, конечно, не в этом, так как в марксизме XX в., и тут Арон прав, доминировали именно идеи прогресса производства как источника материального изобилия.

Но все же потребительство в СССР не имело того же размаха, что на Западе или в сегодняшней России: не было видимых всем образцов высокого стандарта потребления, существовало относительное равенство. Сказывались и идеологические влияния, так как советского человека воспитывали в духе подчинения собственных интересов интересам общества. На последнем этапе существования советского общества произошло усиление потребительских настроений у населения, но это не было результатом воспитательных усилий государства, культ потребления проникал в СССР с Запада, и именно он сыграл большую роль в крушении советского общества. Можно поэтому сказать, что Арон верно причислял СССР к странам, ориентированным на рост производства, но не всегда верно объяснял его природу. С нашей точки зрения, рост в СССР был реактивным, то есть представлял собой реакцию на вызовы Запада, он подстегивался не внутренними импульсами, а императивами внешней политики.

Все сказанное подталкивает к заключению, что производство и наука не являются нейтральными инструментами достижения общественных целей, что они конкретно связаны с исторически сложившейся культурой той или иной страны, являются ее внутренними элементами. Арон как будто осознает это, когда, например, перечисляет специфические особенности советского промышленного роста. В их числе он указывает на 1) изменение порядка развития индустрии (на Западе более простые отрасли индустрии сменялись более сложными: легкая промышленность — производством радиотехники и электроники и т.д. В СССР же были созданы сложные производства, тогда как легкая промышленность оставалась неразвита); 2) несоразмерно низкий третичный сектор; 3) рост производства за счет потребления, в нем доминировали требования создания «экономическо-военной силы»⁶ государства, государственные интересы преобладали над частно-потребительскими. И между тем обе модели роста, западная и советская, казались ему равноценными в смысле выполнения стоявших перед ними задач, обе они казались ему вполне рациональными (в одной производство подчинялось законам прибыльности, в другой — плановым показателям) и одинаково работоспособными.

Со временем Арон отошел от указанной позиции и начал характеризовать советскую модель роста как форму осуществления в России первоначального накопления, строительства начальных фаз индустриального общества: «Советская модель имела заслугу или провинность назвать строительством социализма то, что в XIX в. называли накоплением капитала. С психологической точки зрения предпочтительнее назвать экономический рост строительством социализма, так как это дает моральный, духовный смысл жертвам, которые требуются от масс»⁷. С этой точки зрения, советская модель роста осуждена на гибель в момент, когда советские потребители станут более требовательны и советские плановые органы столкнутся с необходимостью приспособить производство к их нуждам. Тогда они, повторяет Арон выводы Мизеса и Хайека, будут вынуждены обратиться к экономическому расчету, к заботам о рентабельности, и советская экономика начнет сближаться с западной. Так и произошло, революция 1991 г. была в первую оче-

редь революцией потребителей (а уже потом демократической, антикоммунистической, антитоталитарной и т.п.), неутоленная жажда потребления толкнула страну к поиску путей сближения с Западом, с Соединенными Штатами — Меккой потребления.

Такой ход мыслей ведет к выводу, что динамичный рост производства — реалия западной культуры. В «Разочаровании в прогрессе», работе 1969 г., Арон констатирует уже, что соревнование между советской и западной моделями роста повернулось к победе либералов, что рассеялись иллюзии, будто в индустриальном развитии можно обходиться без рынка, правильных цен, ссудных процентов и автономии предприятий. Таким образом, от рассмотрения индустриальных моделей роста Арон снова переходит к мышлению по схеме «капитализм — социализм», Запад — Восток, однозначно утверждая приоритет капитализма в отношении социализма и приоритет Запада по отношению к Востоку в плане реализации индустриального роста.

Но сказанным далеко еще не исчерпывается смысл ароновской теории индустриальных обществ, нераскрытым еще остался вопрос о том, как он интерпретировал роль политики в формировании и развитии таких обществ. Он оспаривал марксистский тезис о том, что производство является той силой, которая определяет экономику, политику и прочие стороны общественной жизни. С его точки зрения, наоборот, именно политика определяет формы индустриальных обществ. Производство лишь инструмент, который служит для достижения целей, выдвигаемых политиками. Политика же предстает у него как концентрированное выражение национальной культуры и национальных отношений, она сгусток характера взаимоотношений людей в тех или иных обществах.

Политике Арон отводил заглавную роль в истории, собственно, и классификация индустриальных обществ, рассмотренная выше, была им проведена при опоре на различие политических форм. Он исходил при этом из того их различия, которое дал А. де Токвиль, предсказавший, что возможны два типа демократических форм правления — либерально-демократическая и деспотическо-демократическая. Арон наложил эту типологию на исторические реалии середины двадцатого века, когда центром мировой политики было противостояние капиталистических

стран Запада и СССР, и получил две модели общества, которые он обозначал еще как «либеральную» и «эгалитарную». Границу между ними он проводил не в области экономики, форм собственности, как привыкли делать марксисты, а в области культуры и политики. Однако идею приоритета политики в общественных изменениях Арон доказывал на примере СССР: советское общество возникло в результате политической революции; структура его экономики и общества в целом определялась политической элитой. Все так, но одновременно он замечает, что на Западе политизация экономической и общественной жизни проявляется меньше. Однако никаких выводов из этого Арон не делает, сохраняя свой тезис о приоритете политики как целепроизводящей инстанции в общественной жизни.

Развивая эту мысль, Арон вносит уточнение: политика имеет свою сферу инструментальности, бюрократию. Ее деятельность оценивается соответственно профессионализму и действительности управления. Бюрократы не ставят целей, они реализуют цели, поставленные политиками. Последние обретаются в сфере парламентаризма и электоральной системы, их дело — межчеловеческие контакты и коммуникации, выработка компромиссов между конфликтующими группами общества. Это политика в собственном смысле слова, где в ходу моральные ценности, мировоззренческие установки, идеологические споры и прочие гуманитарные факторы. Например, в плюралистических политических моделях апеллируют к законности и духу компромисса, в однопартийных моделях (типа СССР) стержнем человеческих отношений являются «вера» и «страх».

Идеи Арона о приоритете политики в широком смысле в отношении других областей общественной жизни, прежде всего производственной, о приоритете политики в узком смысле в отношении бюрократии далеко не бесспорны. Это становится ясно, если соотнести их хотя бы с известными особенностями советской истории. То обстоятельство, что она ведет начало от политического акта — Октябрьской революции 1917 г., Арон выделял особо. Известно также, что с конца двадцатых годов в стране прилагались отчаянные усилия по развитию промышленного производства. Что скрывалось за этим стремлением к индустриализации?

Советские руководители были в определенном смысле хорошими учениками Маркса и Энгельса: они усвоили, что социализм невозможен без высокого уровня производства, сопоставимого с уровнем производства в капиталистических странах. Отсюда их основная установка — догнать и перегнать в экономическом плане капиталистические страны. Но суть дела заключалась не только в следовании теоретическим выкладкам классиков марксизма. В двадцатые годы советские руководители были прежде всего озабочены тем, чтобы удержать власть в стране с преобладающим крестьянским населением, с периодически возникающим голодом и т.д. Как говорил Каутский, большевики, придя к власти, хотели спасти самих себя. Для этого была нужна мощная и технически хорошо оснащенная армия, отсюда вытекал приоритет, отдаваемый тяжелой промышленности. Были и другие политические цели, влиявшие на экономику: нужно было увеличить социальную базу советской власти — преобразовать в пролетариев вчерашних крестьян, сформировать слой интеллигенции, а главное — создать мощный и разветвленный бюрократический аппарат, представители которого должны были проникать повсюду, неся с собой порядок и дисциплину, диктуемые сверху Политбюро ЦК ВКП(б). Итак, если на Западе целью производства была прибыль, то целью советского производства было сохранение и упрочение политического режима. Первая цель требовала строгого экономического расчета, вторая должна была быть осуществлена вопреки всяким экономическим расчетам.

Какие выводы можно извлечь из этих достаточно известных констатаций? С первого взгляда они как будто подтверждают идею Арона о приоритете политики в индустриальных обществах. На деле все обстоит не так. Арон полагал, что экономика, вернее, производство представляют собой нейтральный механизм, инструмент, который политика может направлять в ту или иную сторону без ущерба для его функционирования. Но экономика — не инструмент, она имеет свои законы, которые могут приходиться в противоречие с императивами политики. Об этом и говорит закончившийся столь плачевно опыт советского хозяйствования.

Потенциальная, но всегда готовая актуализироваться контрапунктом всей производственно-экономической сферы и политики обнаружилась в последние десятилетия XX в. и в Европе, где социал-демократы перегрузили национальные бюджеты социальными расходами. Поэтому, когда началась реструктуризация производства в связи с новейшими техническими новациями, потребовалось сокращение социальных программ. Но на Западе все же вмешательство политики в экономику не имело столь грандиозного масштаба, как в СССР. И дело не только в степени такого вмешательства, по сути, тезис Арона о приоритетности политики в индустриальных обществах был правилен лишь в отношении СССР и родственных ему стран Восточной Европы. В них существовала политизированная экономика, тогда как для Запада характерна экономизированная политика. Победа Запада в экономической борьбе с СССР означала победу «экономизации» над «политизацией».

Если перейти теперь к рассмотрению идеи Арона о бюрократии как инструменте в руках политиков, то и она оказывается далеко не бесспорной. Вебер считал бюрократию характерным для индустриального общества типом управления: его отличия – строгая иерархия звеньев управления, направленность власти сверху вниз, его функция – жесткая регламентация, налагаемая на объект управления (фабрику, государственное учреждение и т.п.). Короче, бюрократия, по Веберу, была одним из звеньев рационализации общественной жизни. Арон, будучи учеником Вебера, придерживался такой же точки зрения и сильно подчеркивал нейтральный характер бюрократии в отношении политической власти.

Обратимся снова к советскому опыту. Первым термин «советской бюрократии» употребил Лев Троцкий, он же в работе «Преданная революция» проанализировал ее основные черты. Традиционное представление о бюрократии (К.Маркс, М.Вебер) предполагало, что бюрократия как исполнительный орган управления получает решения от более высоких органов власти и только реализует их исполнение, разбивая его на различные элементы соответственно своим иерархическим звеньям. С советской бюрократией дело обстояло совершенно иначе: прибрав к рукам демократические органы партии,

партийная бюрократия сомкнулась с бюрократией государственной, сведя на нет демократические возможности Советов. В результате она оказалась той силой, которая и принимала решения (или их принимал глава бюрократии Сталин), и исполняла их. Сбылось пророчество А. де Сен-Симона: возникло общество, в котором главную роль играла административная власть. Появление громадного класса бюрократии в советском государстве Троцкий расценивал как свидетельство реакции, которая всегда неизбежно следует за революцией, как род «термидорианского переворота». Бюрократия взяла верх над революцией «не идеями и доводами, а собственной социальной тяжестью. Свинцовый зад бюрократии перевесил голову революции»⁸. Если Маркс, Ленин считали, что пролетарская революция должна разрушить бюрократический государственный аппарат и создать государство (диктатуру пролетариата), в котором заложен механизм его отмирания, то в Советском Союзе, как отмечает Троцкий, государство «разрослось в еще небывалый в истории аппарат принуждения; бюрократия не только не исчезла, уступив свое место массам, но превратилась в бесконтрольную силу, властвующую над массами; армия не только не заменена вооруженным народом, но выделила из себя привилегированную офицерскую касту, увенчивающуюся маршалами»⁹.

Сосредоточив в своих руках всю власть, советская бюрократия стала управлять страной, осуществляя в известной мере рационализацию хозяйственной деятельности и всей общественной жизни. Но гораздо более она заботилась (и тут нельзя не согласиться с Троцким) о собственном существовании и собственном уровне жизни. При той нищете, которая царил в России в двадцатые — тридцатые годы, нужна была жесткая регламентация потребления. Необходимость регулировать распределительную систему и одновременно управлять производством делали советскую бюрократию гораздо более могущественной, чем западная, ибо на Западе сохранялись другие центры власти (в области экономики, политики, права). В советской России бюрократия царил: распределяла, судила, занималась идеологической обработкой населения и внедряла пятилетние хозяйственные планы, которые несли на себе печать админис-

тративного произвола и бюрократического своеволия. Рационализируя общественную жизнь, с одной стороны, она, с другой, вносила в нее сумятицу и произвол. Таким образом, советский опыт не подтверждает идеи о том, что бюрократия — это просто инструмент в руках политиков. Скорее она стремится диктовать политикам и идеологам.

О нарастании значимости бюрократических структур свидетельствует и новейшая история западных стран. Она убеждает в том, что нет жесткой границы между государственными процессами на Западе и Востоке. В конце семидесятых годов французский философ А.Лефевр высказал мысль о том, что сталинское государство является прототипом современных западных государств. Он имел в виду, что при Сталине был создан в России «государственный способ производства», который был доведен «почти до совершенства», являя собой образец «государства — хозяина и собственника, государства вездесущего, всемогущего, всезнающего»¹⁰. Подобные утверждения кажутся эпатажем, мы привыкли всегда противопоставлять советскую государственность и демократические режимы западных стран. Однако можно привести веские аргументы в пользу того, что за их различиями скрывается нечто общее, обязанное своим появлением глобальным политико-экономическим процессам. В этой связи следует указать, во-первых, на социализацию государственной деятельности, которая происходила и в СССР, и в странах Запада, хотя и не в столь радикальной форме. В связи с формированием массовых индустриальных обществ, ростом городского населения государство вынуждено брать под свой контроль и на свое обеспечение организацию повседневной жизни, обучение молодежи, охрану здоровья, содержание стариков, сохраняя за собой и такие стародавние обязанности, как охрана правопорядка и защита национальных интересов. Поскольку социальная сфера требует профессиональных работников разных специальностей, то государство становится и крупнейшим работодателем. Оно, таким образом, контролирует многие сферы деятельности, всюду внося унификацию путем установления правил, норм и т.п. Социализация государственной деятельности, естественно, ведет к росту бюрократии и усилению ее роли в обществе.

Второй серьезный аргумент в пользу сходства структур и функций государства в советской России и на современном Западе состоит в том, что на протяжении XX в. повсеместно усиливалась роль государства во многих сферах общественной жизни, происходило срастание его с экономическими и технократическими структурами. Все это ведет к доминированию исполнительной власти, бюрократов и технократов в отношении парламентской власти. Сфера демократии, которую Арон считал областью, где циркулируют культурные ценности, где осуществляются коммуникации на основе мировоззренческих установок, испытывает сильное давление со стороны исполнительной власти и внегосударственных экономических и технократических структур. Предполагается, что депутаты должны защищать интересы избирателей, но, чтобы выполнить свой долг, им нужно быть все более и более «разумными», считаться с экономической, технократической и государственной «необходимостью». В результате сфера демократии становится сферой анонимной «рациональности», а не той областью человеческих отношений, где царит выбор, определяемый культурными ценностями. Конечно, на Западе в силу давних демократических традиций общественное мнение еще может воздействовать на политику, тогда как в советской России его роль была весьма ограничена, впрочем, как и в современной России. Но и на Западе демократия в настоящее время испытывает серьезные угрозы, недаром левые говорят все время о превращении политики в «шоу», «спектакль». Область политической власти повсюду сужается, а власть профессиональных управленцев (технократов, бюрократов) неуклонно возрастает. Таким образом, трудно признать существование четкой границы между формами инструментальной деятельности и той, которая развивается под знаком культурных ценностей.

Вообще мысль о том, что наука и производство нейтральны в отношении культурных мотиваций человеческой деятельности, может быть опровергнута и другим путем, если вспомнить, что убеждение в значимости науки и производства, в их приоритетности в деле освобождения человека от власти природы обязано своим происхождением веку Просвещения и последовавших затем буржуазных революций. Тогда было провоз-

глашено царство разума, который в то время не претендовал на нейтральность, а наоборот, был основой ожесточенного противостояния между поднимающейся буржуазией и привилегированными слоями монархических государств. Разум заключал в себе новые ценности — свободу, равенство, братство, и он не утратил своей ценностной составляющей по настоящее время. Поэтому можно сказать, что «рациональное» не представляет собой антитезу культурным ценностям, оно само по себе является ценностью. Собственно, и Арон пришел к той же мысли лет через пятнадцать после своих работ о едином индустриальном обществе. Это видно по его работе «Разочарования в прогрессе» (1969), вышедшей в период известных студенческих волнений и усиливающихся нападков на разум, на «рациональность» со стороны левых интеллектуалов типа Ж.Элюля или К.Касториадиса. Арон в этой работе рассуждает в частности об универсалистском призвании науки, техники, производства и признает, что они могут приходиться в противоречие с обычаями и культурой тех или иных стран. Но национальную культуру он теперь характеризует как религию частной сферы и отделяет ее от государства. Последнее в результате оказывается ближе к системе рациональных отношений, автор наделяет его функцией рационального управления национальными ресурсами. Только таким путем, как думает Р.Арон, можно преодолеть национальные эгоизмы и содействовать установлению планетарного руководства, необходимого для решения глобальных проблем человеческого существования.

Заявив в пятидесятые годы о том, что культурные ценности доминируют в национальных сообществах, в том числе через политику, Арон уже в конце шестидесятых отказывается от этой идеи. Он признает, что развитие науки, техники, производства накрепко связано с условиями западной цивилизации и поэтому их распространение по всему миру несет угрозу культурам незападных народов, заставляя и их жить по законам разума. Он принимает перспективу унификации экономик и государств в разных странах мира и их подчинение планетарному руководству. Правда, он вынужден признать, что ни рациональное производство, ни потребление не являются смыслом человеческой жизни. Ранее он думал, что этот смысл люди обретают в куль-

туре, теперь он призывает на помощь философскую спекуляцию, надеясь, что она заполнит пустоту жизни в рационально устроенном мире.

Примечания

- ¹ *Aron R. Leçons sur l'histoire. P., 1989. P. 442.*
- ² *Aron R. Dix-huit leçon sur la société industrielle. P., 1962. P. 144.*
- ³ *Ibid. P. 85.*
- ⁴ *Ibid. P. 209.*
- ⁵ *Aron R. La lutte des classes. Nouvelles leçons sur la société industrielle. P., 1964. P. 183.*
- ⁶ *Aron R. Dix-huit leçon sur la société industrielle. P.241.*
- ⁷ *Ibid. P. 245.*
- ⁸ *Троцкий Л. Преданная революция. М., 1991. С. 95.*
- ⁹ *Там же. С. 46.*
- ¹⁰ *Lefebvre H. De l'Etat. Vol. 3. P. 282–283.*